

**Д. С. Мережковский**

# **Пророк Русской революции**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
М52

М52 **Мережковский Д.С.**  
Пророк Русской революции / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию,  
2016. – 156 с.

**ISBN 978-5-517-82915-3**

**ISBN 978-5-517-82915-3**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2016

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2016

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



## Пророкъ русской революціи

28 Января 1906 года исполнится 25 лѣтъ со дня смерти Достоевскаго.

Вѣщимъ предзнаменованіемъ кажется то, что онъ умеръ наканунѣ 1 Марта, перваго громового удара той грозы, которая надвигалась на насъ четверть вѣка, и что первыя поминки по немъ справляются среди разразившейся, наконецъ, бури.

Онъ вѣдь и самъ носилъ въ себѣ начало этой бури, начало безконечнаго движенія, несмотря на то, что хотѣлъ быть или казаться оплотомъ безконечной неподвижности; онъ былъ революціей, которая притворилась реакціей.

„Будущая самостоятельная русская идея у насъ еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и въ страшныхъ мукахъ готовится родить ее“, писалъ онъ въ своемъ предсмертномъ дневникѣ.

Самъ Достоевскій—первый вопль этихъ мукъ рожденія.

„Вся Россія стоитъ на какой-то окончательной точкѣ, колеблясь надъ бездною“, писалъ онъ еще раньше, въ 1878 году. Отъ этой бездны онъ и отворачивался, и пятился, и цѣплялся судорожно за скользкіе края обрыва, за мнимыя твердыни прошлаго—православіе, самодержавіе, народность. Но если бы онъ увидѣлъ то, что мы сейчасъ видимъ,—понялъ ли бы, что православіе, самодержавіе, народность, какъ онъ ихъ разумѣлъ, не три твердыни, а три провала на неизбѣжныхъ путяхъ Россіи къ будущему? Она пошла

туда, куда онъ звалъ, къ тому, что онъ считалъ истиной. И вотъ плоды этой истины. Россія уже не „колеблется“, а падаетъ въ бездну. Самодержавіе рушится. Православіе въ ббльшемъ „параличѣ“, нежели когда-либо. И русской народности поставленъ вопросъ уже не о первенствѣ, а о самомъ существованіи среди другихъ европейскихъ народовъ.

На чью же сторону сталъ бы Достоевскій, на сторону революціи или реакціи? Неужели и теперь не почувствовали бы дыханья устъ Божіихъ въ этой бурѣ свободы? Неужели и теперь не отсекся бы отъ своей великой лжи для своей великой истины?

Достоевскій—пророкъ русской революціи. Но какъ это часто бываетъ съ пророками, отъ него былъ скрытъ истинный смыслъ его же собственныхъ пророчествъ.

Существуетъ непримиримое противорѣчіе между внѣшней оболочкою и внутреннимъ существомъ Достоевскаго. Извнѣ—мертвая скорлупа временной лжи; внутри—живое ядро вѣчной истины. Надо разбить скорлупу, чтобы вынуть ядро. Это оказалось не по зубамъ русской критикѣ. Но у русской революціи достаточно крѣпкіе зубы: разбивая многое изъ того, что представлялось несокрушимо-твердымъ, она разбила и политическую ложь Достоевскаго. И вотъ передъ нами три осколка, три грани этой лжи: „самодержавіе“, „православіе“, „народность“. А за ними—нетлѣнное ядро истины, лучезарное сѣмя новой жизни, то малое горчишное зерно, изъ котораго выростетъ великое дерево будущаго: эта истина—пророчество о Св. Духѣ и о Св. Плоти, о Церкви и Царствѣ Грядущаго Господа.

Можетъ быть, правда, которую я хочу сказать о Достоевскомъ, на этой юбилейной тризнѣ, покажется жестокою. Но я люблю его достаточно благоговѣйною любовью, чтобы сказать о немъ всю правду. Онъ—самый родной и близкій изъ всѣхъ русскихъ и всемірныхъ писателей не мнѣ одному. Онъ далъ намъ всѣмъ, ученикамъ своимъ, величайшее благо, какое можетъ дать человѣкъ человѣку: открылъ намъ

путь ко Христу Грядущему. И вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ же, Достоевскій, едва не сдѣлалъ намъ величайшаго зла, какое можетъ сдѣлать человѣкъ человѣку, — едва не соблазнилъ насъ соблазномъ Антихриста, впрочемъ, не по своей винѣ, ибо единственный путь ко Христу Грядущему—ближе всѣхъ путей къ Антихристу. Мы одолѣли соблазнъ; но, зная, по собственному опыту, всю его силу, мы должны предостеречь тѣхъ, кто идетъ за нимъ по тому же пути.

Не мы судимъ Достоевскаго, сама исторія совершаетъ свой страшный судъ надъ нимъ, такъ же какъ надо всей Россіи. Но мы, которые любили его, которые погибали съ нимъ, чтобы съ нимъ спастись, не покинемъ его на этомъ страшномъ судѣ: будемъ съ нимъ осуждены, или съ нимъ оправданы. Судъ надъ нимъ—надъ нами судъ. Мы не обвинители, даже не свидѣтели—мы сообщники Достоевскаго.

Донинѣ казалось, что у него два лица — Великаго Инквизитора, предтечи Антихриста, и старца Зосимы — предтечи Христа. И никто не могъ рѣшить, иногда самъ Достоевскій не зналъ, какое изъ этихъ двухъ лицъ подлинное, гдѣ лицо и гдѣ личина. Мы уже знаемъ. Но, чтобы увидѣть лицо, надо снять личину. Я это и хочу сдѣлать.

Только Достоевскимъ можно обличить Достоевскаго, только Достоевскимъ можно оправдать Достоевскаго. Съ нимъ я противъ него, съ нимъ я за него. То, что я дѣлаю, онъ сдѣлалъ бы самъ.

## I

Однажды въ дѣтствѣ, будучи совсѣмъ одинъ, въ ясный предъосенній день, на опушкѣ лѣса, онъ услышалъ надъ собою, среди глубокой тишины, громкій крикъ: Волкъ бѣжить!—и внѣ себя отъ испуга, крича въ голосъ, выбѣжалъ

въ поле, прямо на пашущаго мужика Марей; разбѣжавшись, уцѣпился одной рукой за его соху, а другою за его рукавъ. Тотъ успокоилъ его: „Что ты, что ты?.. какой волкъ?.. Померещилось... Ужь я тебя волку не дамъ... Христоръ съ тобою!“ И мужикъ перекрестилъ мальчика „съ почти материнскою улыбкою пальцами запачканными въ землѣ“.

Въ этомъ воспоминаніи преобразована вся религиозная жизнь Достоевскаго. Маленькій Федя выросъ и сдѣлался великимъ писателемъ. вмѣстѣ съ Федей выросъ и мужикъ Марей въ великій „народъ-богоносецъ“. Но таинственная связь между ними осталась неразрывною. Съ тѣхъ поръ часто слышалъ Достоевскій страшный крикъ: Волкъ бѣжитъ! Звѣрь идетъ! Антихристоръ идетъ!—и каждый разъ кидался къ мужику Марей, внѣ себя отъ испуга. И тотъ защищалъ его и успокаивалъ съ „почти материнскою улыбкою“: „Ужь я тебя волку не дамъ! Христоръ съ тобой!“ И крестилъ. Это и было истинное крещеніе Достоевскаго — не въ церкви, а въ полѣ, не святой водою, а святой землею.

Въ чемъ же собственно сила мужика Марей, спасающая отъ „волка“, отъ Звѣря-Антихриста? Въ святой Божьей землѣ, въ сырой землѣ-матери, которая тамъ, на послѣдней чертѣ горизонта соединяется со святымъ Божимъ небомъ. „Христіанинъ—крестьянинъ“, объясняетъ самъ Достоевскій. Въ этомъ послѣднемъ грядущемъ, не совершившемся, но возможномъ соединеніи крестьянства съ христіанствомъ, правды о землѣ съ правдою о небѣ заключается религиозная сила мужика Марей. Онъ—древній Микула Селяниновичъ, богатырь темныхъ земныхъ глубинъ, и въ тоже время — новый Святогоръ, богатырь горныхъ, звѣздныхъ вершинъ. Св. Егорій, Побѣдитель „Дракона, Змія древняго“. Онъ — русскій „народъ-богоносецъ“. Крестьянство есть христіанство, а можетъ быть, и наоборотъ: христіанство есть крестьянство. Не старое, государственное, византийское, греко-россійское, а юное, вольное, народное, мужичье христіанство и есть „православіе“. Такова основная мысль Достоевскаго.

„Русскій народъ весь въ Православіи. Болѣе въ немъ и у него ничего нѣтъ, да и не надо, потому что православіе все. Православіе — Церковь, а Церковь — увѣнчаніе зданія, и уже навѣки. Кто не понимаетъ православія, тотъ никогда и ничего не пойметъ въ народѣ. Мало того: тотъ не можетъ и любить русскаго народа“.

Въ этой основной мысли и основная ошибка Достоевскаго. Онъ принимаетъ будущее за настоящее, возможное за дѣйствительное, свое новое апокалипсическое христіанство за старое историческое православіе.

Крестьянство хочетъ сдѣлаться христіанствомъ, но не сдѣлалось. Правда о землѣ хочетъ соединиться съ правдой о небѣ, но не соединилась: для историческаго христіанства, православія, соединеніе это оказалось невозможнымъ. И никогда еще до такой степени, какъ въ настоящее время, крестьянство не было противоположнымъ христіанству. Тутъ въ первобытномъ стихійномъ единствѣ народныхъ вѣрованій что-то расколосось, дало трещину. и эта сперва малая трещина, постепенно углубляясь, сдѣлалась, наконецъ, тою бездною, о которой говоритъ Достоевскій: „вся Россія стоитъ на какой-то окончательной точкѣ, колеблясь надъ бездною“.

Сила мужика Марея въ землѣ; но земля куда-то уходитъ отъ него. „Нѣтъ земли“, эта, нѣкогда тихая, жалоба, дѣлаясь все громче и громче, превратилась, наконецъ, въ отчаянный вопль, ревъ мятежа крестьянскаго и всенароднаго, великой русской революціи. Вопить земля, а небо глухо. Земля залита кровью, а небо черно или красно отъ зарева пожаровъ. Христіанство, уйдя на небо, покинуло землю; и крестьянство, отчаявшись въ правдѣ земной, готово отчаяться и въ правдѣ небесной. Земля—безъ неба, небо—безъ земли; земля и небо грозятъ слиться въ одномъ безпредѣльномъ хаосѣ. И кто знаетъ, гдѣ дно этого хаоса, этой бездны, которая вырылась между землей и небомъ, между крестьянствомъ и христіанствомъ?

Изъ этой основной ошибки вытекаютъ всѣ остальные обманы и самообманы Достоевскаго.

Какъ въ отношеніи своемъ къ русскому простонародному христіанству, такъ и въ отношеніи этого христіанства къ просвѣщенію вселенскому смѣшиваетъ онъ будущее съ настоящимъ, возможное съ дѣйствительнымъ, апокалипсическое съ историческимъ.

„Окончательная сущность русскаго призванія заключается въ разоблаченіи предъ міромъ русскаго Христа, міру невѣдомаго и котораго начало заключается въ нашемъ родномъ православіи. По моему, въ этомъ вся сущность нашего могучаго будущаго цивилизаторства и воскрешенія хотя бы всей Европы“.

Въ чемъ же заключается особенность православія или, какъ Достоевскій выражается, „русскаго Христа“?

Онъ даетъ нѣсколько опредѣленій православія, но не можетъ остановиться ни на одномъ.

„Во всей вселенной нѣтъ имени, кромѣ Его (Христа), которымъ можно спастись“, вотъ, будто бы, „главная идея православія“. Опредѣленіе слишкомъ широкое: оно обнимаетъ не только православное, но и католическое и протестантское и всякое вообще христіанское исповѣданіе, ибо, всѣ они, точно также, какъ православіе, признаютъ имя Христово единственно спасительнымъ.

„Господи, Владыко живота моего“ — въ этой молитвѣ вся суть христіанства, а народъ знаетъ эту молитву наизусть. Главная же школа христіанства, которую прошелъ онъ, это — вѣка безчисленныхъ и безконечныхъ страданій.

Послѣднее опредѣленіе, въ противоположность первому, слишкомъ узкое для религіи самого Достоевскаго, хотя, можетъ быть, и вѣрное для православія.

Вѣдь, если монашество, въ пору своего расцвѣта, не сумѣло включить въ себя зачатковъ свѣтской культуры, то нѣтъ никакого основанія думать, что теперь, въ пору своего упадка, оно сумѣетъ включить въ покаянную молитву Исаака Сирина всѣ необъятные горизонты современнаго европейскаго и всемірнаго просвѣщенія. Вѣдь, именно монашескій уклонъ, пониманіе христіанства, какъ уходенія

отъ міра, и было главною причиною того, что Христось дѣйствительно ушелъ отъ міра, и міръ ушелъ отъ Христа. Утверждать этотъ уклонъ значитъ утверждать и это расхождение. Если бы Достоевскій настаивалъ на послѣднемъ опредѣленіи, то ему пришлось бы отказаться или отъ Россіи съ ея „русскимъ Христомъ“, или отъ Европы съ ея вселенскимъ просвѣщеніемъ. Ни того, ни другого онъ сдѣлать не могъ. Онъ искалъ другого опредѣленія и, дѣйствительно, нашелъ болѣе глубокое и точное для своей собственной религіи, но для православія окончательно ложное.

Православіе восточное есть, будто бы, всемірное *духовное* объединеніе людей во Христѣ. Западное, римско-католическое, папское христіанство противоположно восточному. Западное воплощеніе идеи всемірнаго объединенія „утратило христіанское духовное начало“. „Римскимъ папствомъ было провозглашено, что христіанство и идея его, безъ всемірнаго владѣнія землями и народами — *недуховно, а государственно*—другими словами, безъ осуществленія на землѣ новой всемірной римской монархіи, во главѣ которой уже не римскій императоръ, а папа, — осуществлено быть не можетъ. Такимъ образомъ, въ восточномъ идеалѣ — сначала духовное единеніе человѣчества во Христѣ, а потомъ ужъ, въ силу этого духовнаго соединенія, и несомнѣнно вытекающее изъ него правильное государственное и социальное единеніе; тогда какъ по римскому толкованію наоборотъ: сначала заручиться прочнымъ государственнымъ единеніемъ, въ видѣ всемірной монархіи, а потомъ ужъ, пожалуй, и духовное единеніе подъ началомъ папы, какъ владыки міра сего“.

Тутъ неясность отъ двусмысленнаго употребленія слова „государство“. Въ первомъ случаѣ, когда говорится о православіи и вытекающемъ изъ духовнаго единенія во Христѣ, „правильномъ государственномъ единеніи“, подъ „государствомъ“ разумѣется нѣчто абсолютно-противоположное тому, что обозначается тѣми же словами „государство“, во второмъ случаѣ, когда говорится о римскомъ католичествѣ и объ

его отреченіи отъ христіанскаго, „духовнаго начала“, во имя „государственнаго владѣнія землями и народами“.

Въ первомъ случаѣ, „государство“ понимается, какъ царство Божье, какъ *теократія*, то-есть, безгранично-свободная, любовная общественность, отрицающая всякую внѣшнюю насильственную власть и, слѣдовательно, какъ нѣчто непохожее ни на одну изъ донинѣ существовавшихъ въ исторіи, государственныхъ формъ; во второмъ случаѣ, „государство“ разумѣется, какъ внѣшняя насильственная власть, какъ царство отъ міра сего, царство дьявола—*демонократія*. Если бы устранить эту двусмысленность и довести до конца противоположеніе любовнаго, свободнаго единенія людей единенію насильственному, государственному, то получился бы для самого Достоевскаго неожиданный, но неминуемый выводъ: совершенное отрицаніе всякой внѣшней государственной власти, всякаго земнаго царства, во имя единаго Царя царствующихъ и Господа господствующихъ, совершенная *анархія*, конечно, не въ старомъ, поверхностномъ, соціально-политическомъ, а въ новомъ, гораздо болѣе глубокомъ, религіозномъ смыслѣ, всемірная анархія, какъ путь ко всемірной теократіи, безвластіе, какъ путь къ боговластію.

Но едва ли бы Достоевскій рѣшился утверждать, что теократическая анархія есть идеаль восточнаго и въ частности русскаго христіанства, православія. А чего нѣтъ въ религіозномъ идеалѣ, того, конечно, нѣтъ и быть не можетъ въ религіозной дѣйствительности: безграничная покорность всѣмъ властямъ земнымъ, совершенный отказъ отъ любовной и свободной общественности, совершенное порабощеніе церкви государству—такова историческая дѣйствительность православія. На Западѣ происходила борьба духовной власти со свѣтской, новаго христіанскаго идеала всемірной теократіи съ древне-римскимъ, языческимъ идеаломъ всемірной монархіи; римскій первосвященникъ, для того чтобы превратиться въ римскаго кесаря, долженъ былъ измѣнить своему первоначальному христіанскому идеалу. На востокѣ отре-

ченіе отъ свободы Христовой въ области общественной, побѣда языческаго государства надъ христіанскою церковью произошла безъ всякой борьбы и безъ всякой измѣны, потому что и бороться было не съ чѣмъ, измѣнить нечему, за отсутствіемъ всякой идеи общественной святости въ самомъ идеалѣ православія. Историческая дѣйствительность совершенно противоположна исторической схемѣ Достоевскаго: идея всемірнаго духовнаго единенія челоѣчества во Христѣ существовала, хотя и съ неудачными попытками осуществленія, только въ западной половинѣ христіанства, въ католичествѣ, тогда какъ въ православіи эта идея и не брежила. Здѣсь, на Востокѣ, римскій кесарь, самодержецъ въ языческомъ смыслѣ, „земной богъ“, „челоѣкѣ-богъ“ — какимъ былъ до христіанства, такимъ и остался въ христіанствѣ. И не было такого насилія, такого кошунства, такого непотребства самодержавной власти, которыя не благословлялись бы православною церковью. Послѣдній предѣлъ этой власти достигнуть въ естественномъ продолженіи и завершеніи восточной римской имперіи—въ русскомъ самодержавіи. И ежели государственная власть папѣ Достоевскому кажется отреченіемъ отъ Христа, то русское самодержавіе должно бы ему казаться прямымъ и широкимъ путемъ въ царство Антихриста.

А противопоставлять самодержавіе папству, какъ духовную христіанскую свободу—государственному языческому насилію, какъ теократію—демонократіи, значитъ дѣлать черное бѣлымъ и бѣлое чернымъ.

Достоевскій, наконецъ, понялъ, что, оставаясь на почвѣ православія, нельзя найти вселенскій смыслъ въ „русскомъ Христѣ“. Тогда, оставивъ церковь, обратился онъ къ русскому просвѣщенію, къ двумъ величайшимъ представителямъ его—Петру и Пушкину.

Въ преобразованіяхъ Петра, Достоевскій находитъ „способность высоко синтетическую, способность всепримиримости, всечелоѣчности“. „Въ русскомъ челоѣкѣ нѣтъ европейской непроницаемости. Онъ со всѣмъ уживается и

во все вживается. Онъ сочувствуетъ всему человѣческому, внѣ національности, крови и почвы. Онъ инстинктомъ угадываетъ общечеловѣческую черту даже въ самыхъ рѣзкихъ исключительностяхъ другихъ народовъ: тотчасъ же соглашается, примиряетъ ихъ въ своей идеѣ и нерѣдко открываетъ точку соединенія и примиренія въ совершенно противоположныхъ соперническихъ идеяхъ двухъ различныхъ европейскихъ націй“.

„До-петровская Россія понимала, что несетъ внутри себя драгоценность, которой нѣтъ нигдѣ больше—православіе, что она—хранительница настоящаго Христова образа, затемнившагося во всѣхъ другихъ народахъ“. Но „древняя Россія въ замкнутости своей готовилась быть неправа. Съ Петровской реформой явилось расширение взгляда безпримѣрное. Подобной реформы нигдѣ никогда и не было. Это—почти братская любовь наша къ другимъ народамъ; это—потребность наша всеслуженія человѣчеству, даже въ ущербъ иногда собственнымъ ближайшимъ интересамъ; это—нажитая нами способность въ каждой изъ европейскихъ цивилизацій или, вѣрнѣе, въ каждой изъ европейскихъ личностей открывать и находить заключающуюся въ ней истину. Тамъ, въ Европѣ, каждая народная личность живетъ лишь для себя и въ себѣ, а мы начнемъ съ того, что станемъ всѣмъ слугами, для всеобщаго примиренія. И въ этомъ величіе наше, потому что все это ведетъ къ окончательному единенію человѣчества. Кто хочетъ быть выше всѣхъ въ царствіи Божіемъ, стань всѣмъ слугой. Вотъ какъ я понимаю русское назначеніе въ его идеалѣ“.

Ту же русскую особенность Достоевскій видитъ въ Пушкинѣ: „мы поняли въ немъ (Пушкинѣ), что русскій идеалъ—всецѣлѣдность, всепримиримость, всечеловѣчность“.

Петръ далъ общественную, Пушкинѣ—эстетическую форму русской „всечеловѣчности“; Достоевскому предстояло влить религиозное содержаніе въ эту форму. Всечеловѣчество, какъ путь къ Богочеловѣчеству, соединеніе свѣта Христова съ просвѣщеніемъ вселенскимъ возможно только въ томъ